

РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ РЕЦЕПЦИИ РАССКАЗА Л. АНДРЕЕВА «СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»

Г. Н. Боева

Невский институт языка и культуры (г. Санкт-Петербург)

Поступила в редакцию 6 октября 2014 г.

Аннотация: в статье предложена рецепция рассказа Л. Андреева «Сын Человеческий» (1909) в религиозном аспекте. В статье доказывается, что наиболее чуткими, близкими к «органической» критике оказались те, кто интерпретировал рассказ в контексте религиозно-духовных поисков эпохи, «поверх эстетических барьеров».

Ключевые слова: Леонид Андреев, рецепция, христианская традиция, критика, трагический гротеск, пародийность.

Abstract: this article explores the religious aspect of the reception of Leonid Andreev's short story "Son of Man" (1909). The article convincingly demonstrates that the most sensitive, "near-organic" critics turned out to be those who interpreted the story within the context of the religious and spiritual search of the era – that is "above aesthetical barriers."

Key words: Leonid Andreev, reception, Christian tradition, criticism, tragic grotesque, parody.

Рассказ «Сын человеческий» (1909) был навеян реальным событием – промелькнувшим на страницах газет сообщением о вятском священнике, пожелавшем перейти из православия в магометанство. Во всяком случае, сам Андреев в беседе с А. А. Измайловым не отрицал этого факта [1].

«Указ о веротерпимости», воспользовавшись которым, герой рассказа решает перейти в магометанство, – также подлинный факт российской общественной жизни. 14 декабря 1906 г. в России была уничтожена статья 185, карающая за отпадение от христианства в иную веру, и это законодательное новшество активно обсуждалось в Думе и освещалось прессой.

Главный герой рассказа, сельский священник по фамилии Богоявленский, – один из характерных андреевских «бунтарей»: сначала он восстает против своей говорящей фамилии, пытаясь заменить ее на номер, потом переходит в магометанство, проклинает старшего сына, тоже священника, приехавшего его увещевать, наконец, покупает граммофон. Этот загадочный предмет, транслирующий еврейские песнопения, сбивающий с толку дьяка и сводящий с ума щенка, – едва ли не второй по важности «герой» рассказа. Затем следуют развязка и открытый финал: за отступником приезжают «из центра» и увозят его в консисторию.

Парадоксально, но, несмотря на реальную основу рассказа, большинство критиков сочли его неправдоподобным [2]. В неприятии «Сына человеческого» оказались единодушны рецензенты самых

разных направлений: все нелестные отзывы на рассказ содержат одни и те же претензии, главная из которых – неубедительность, художественная недостоверность. Так, два маститых литературных обозревателя крупнейших столичных газет, Ю. Айхенвальд и А. Измайлов, как будто в соавторстве, множат упреки в адрес нового рассказа Андреева. Для Айхенвальда это «вздор», «безвкусные балясы неправдоподобия» [3], для Измайлова – «простой патологический случай, ... не поддающийся постижению с точки зрения трезвой и здоровой психологии» [4] и лишенный типичности.

Еще удивительнее тот факт, что более благожелательными оказались к новинке интерпретирующие ее в религиозном контексте.

Критика на рубеже XIX–XX веков продолжала оставаться универсальным способом трансляции не только эстетических ценностей, но и ценностей общественных и мировоззренческих. Произведения же Андреева, одного из самых востребованных русских писателей начала века, попадали в самые разнообразные контексты – от социально-политического до философского, от педагогического до медицинского и психопатологического. Поскольку Андреев неизменно обращался в своем творчестве к религиозным темам (и на материале современности – в знаменитом рассказе о сельском священнике, богоборце Фивейском («Жизнь Василия Фивейского» (1903), и в духе вольной интерпретации библейских сюжетов («Иуда Искариот и другие» (1907), и в религиозно-метафизических фантазиях («Анатэма» (1909)), он стал постоянным объектом внимания со стороны критики именно в этом аспек-

те. В том числе – и критики христианской, воспринимающей рассказ в контексте религиозной мысли. Можно суверенностью утверждать, что Андреев был одним из самых читаемых церковнослужителями авторов – об этом свидетельствует обширная библиография [5, 534–544].

Подтверждением тому служит и рецепция рассказа «Сын человеческий». Мы остановимся на тех критических откликах, которые интерпретируют рассказ в контексте религиозной мысли.

Так, в журнале «Северные зори» Андреев характеризуется как один из современных «пророков красоты», которые хотят укрепить свою эстетику «на ложе религиозности» [6, 21]. «Но скепсис идет по пятам за ними, – пишет критик, – и мрачным голосом Леонида Андреева напоминает, что самая идея Бога, строителя и зиждителя жизни, есть, быть может, не более, как западня, подставленная наивному человеческому духу кем-то злым и хитрым. Такова основная идея всех его последних произведений, в том числе “Сына человеческого” и “Анатэмы”. Впрочем, в “Анатэме” есть иная идея: “есть Бог, есть бессмертие, есть абсолютные ценности, но они недоступны разумению духа, преданного заклятию”» [6, 21].

Один из самых внимательных – и недоброжелательных – читателей Андреева – священник Колосов, который, похоже, не пропускал ни одну новинку, вышедшую из-под пера писателя. Не остался без внимания и «Сын человеческий». Свой интерес к «нашумевшему рассказу» священник Н. Колосов объясняет тем, что Андреев, писатель, «изобретающий для своих рассказов и пьес все более и более замысловатые темы и вычурные, и необыкновенные сюжеты, обнаруживает в последнее время какое-то болезненное тяготение к религиозным сюжетам и не стесняется затрогивать в своих произведениях священнейшие вопросы и выводить священнейших лиц» [7, 387].

Священник демонстрирует блестящее знание творчества Андреева и легко проводит параллели с другими произведениями писателя на религиозную тему – с «Саввой» (1903) и «Жизнью Василия Фивейского» (1903). С пьесой, пишет Колосов, «Сын человеческий» схож тем, что в их основе лежит «офантазированное и искаженное» событие; кроме того, «некоторые разговоры дьякона с о. Иваном близко напоминают собою диалоги сумасшедших Тюхи и Сперанского в “Савве”» [7, 394]. С «Фивейским», бледную копию которого представляет собой новый рассказ, его роднят «вычурность и неестественность», «те же тщетные и неудачные попытки покрыть таинственностью и окутать мистическим ужасом самые обыкновенные и простые житейские вещи» [7, 389].

Пожалуй, Колосов единственный, кто пытается проинтерпретировать смысл заглавия рассказа,

однако делает это в крайне нелестном для автора духе: «Выражение “сын человеческий” употребляется в священном писании в разных значениях. Так называются там люди вообще и даже грешники. Так многократно называет Бог пророка Иезекииля. Но так же по смирению называет Себя в Евангелии и Сам Господь Иисус Христос, и с этого времени выражение это становится священным. Нашим же автором оно, очевидно, употреблено, по его обыкновению, для того чтобы дать рассказу громкое и необычное заглавие, хотя бы, как говорится, и ни к селу, ни к городу» [7, 387–388].

Статья также интересна тем, что ее автор с позиции своего профессионального опыта отмечает целый ряд несообразностей и неправдоподобностей в рассказе: не может стать протоиреем к пятидесяти годам простой сельский священник; не может к нему приехать чиновник на дом (его бы вызвали в консисторию на увещевание); также отмечается глупость, нелепость – но и симпатичность! – образа диакона, как, впрочем, и в других рассказах Андреева, где воссоздается быт священнослужителей – «Жили-были», «Жизнь Василия Фивейского». С точки зрения достоверности комментирует священник и главную фабульную интригу рассказа – переход священника-вотняка в магометанство: непросвещенный, неразвитый умственно и нравственно, он, подпав, видимо, под влияние сородичей-язычников, предполагает Колосов.

Основная же претензия к рассказу все та же – психологическая неубедительность, и автор с недоумением вопрошает: «зачем этот рассказ написан и в чем его смысл?». И далее: «Ведь если бы автор изобразил хоть действительный случай, – попробовал бы воссоздать тот психологический процесс, те колебания (ведь не может же быть, чтобы их совсем не было), какие предшествовали переходу упомянутого священника в магометанство, тогда его рассказ имел бы все-таки значение, как попытка воспроизвести жизнь, действительно бывшее, но ведь и этого нет: основание для рассказа – отпадение священника в магометанство – правда, существует, но произошло это во всяком случае не так, как это происходит у нашего автора. Автор видит человека заведомо ненормального, даже полусумасшедшего... – но ведь мало ли что может наделать сумасшедший, и какое до этого дело художественной литературе? <...> Задача этой последней совсем иная, – изображать правду жизни, вековечное, общечеловеческое, или, по крайней мере, общенациональное» [7, 392–393].

Свой анализ новинки Н. Колосов заключает констатацией: «Происхождение подобного рассказа только и можно объяснить страстным желанием написать что-нибудь донельзя неправдоподобное и фантастическое, чтобы этим продолжать обращать на себя внимание и поддерживать начинающую

уже падать литературную шумиху вокруг своего имени. И мы не стали бы даже упоминать о таком рассказе, если бы не знали очень хорошо, что он, как и всякое новое произведение Леонида Андреева, все же возбудит шум, что он так близко касается православного русского духовенства, да еще в таком модном, злободневном вопросе, что этим рассказом и его несуразным героем будут, выражаясь вульгарно, тыкать в глаза духовенству...» [7, 393]. И хотя «отношение к духовенству вообще в рассказе» «самое отрицательное», завершает Колосов, нельзя не заметить «невольное благоговение перед Спасителем автора в одном из эпизодов» (с граммофоном, из которого не может раздаться неземной голос Христа).

Уже в 1916 году к «Сыну человеческому» обратился В. Германов в развернутой статье, посвященной религиозным поискам современной литературы [8]. Разговор о рассказе предваряется следующим замечанием: «В сущности только для мыслителя и интересен этот писатель. Художественная ценность его творчества в большинстве случаев очень не велика» [8, 129].

Примечательно, что Германов, как и священник Колосов, вписывает рассказ Андреева в контекст всего его творчества: «Вероятно, не без руководства автора в собрании сочинений “Иуда” помещен рядом с “Сыном человеческим”. Нелепости внешней стороны последнего рассказа вызвали много осуждений, но сущность его – очень интересна. “Сын человеческий” – это имя Христа, утвердившего личность» [8, 143]. Из ужаса перед «полным обезличением», рассуждает критик, проистекают и желание у о. Ивана взять номер вместо имени, и осознание дьяконом своей способности к преступлению.

«Пишущему эти строки “Сын человеческий” казался дикостью и язвительным памфлетом на отношение духовенства к указу о свободе совести, пустою сатирою, – делится мыслями Германов. – Но в последнем томе сочинений Андреева ... есть “Правила добра” [рассказ Андреева 1911 г. – Г. Б.], произведение, невольно напомнившее о. Ивана и заставившее заподозрить и здесь более серьезный смысл. Та беспочвенность, какую создает логически продуманный до конца позитивизм, все распыляющий, все разлагающий на отдельные элементы субъективных восприятий, самую душу истолковывающий, как связь явлений сознания “без субстрата”, без вещи в себе, – эта беспочвенность и есть настроение о. Ивана, и есть превращение человека в граммофон, и от этого не один дьякон придет в ужас. Ужас – в нравственном безразличии... Потерянным становится различие человеческое, определенность личности. <...>

Ибо не чувствуют они, что граммофон – только передача физического символа – движения, что глубина души человеческой, святости ее – в непере-

даваемом тайном существе, в том начале, которое возносит над землею, над железными законами, над смертью, через которые мы сами преобразуем жизнь. Нет здесь внутренней основы жизни, как нет ее и у черта, возлюбившего добро» [8, 143–144].

«Андреев бьется над старыми, как мир, вопросами, и заслуга его для религиозной мысли – в том, что он остро и беспощадно ставит их перед современностью, в значительной части или равнодушной, или легкомысленной в области религии», – заключает автор статьи [8, 148].

Прежде чем перейти к выводам, предоставим слово самому писателю: для реконструкции авторской идеи и, соответственно, заключений о справедливости приведенных выше критических интерпретаций следует принять во внимание и авторский замысел. В этом смысле крайне важна беседа Андреева с критиком Измайловым.

Соглашаясь с Измайловым в том, что взятая тема интересна именно как «психологическая загадка», Андреев так объясняет свой замысел, «сложившийся у него в голове»: «Как бытового рассказ, он – никакой рассказ. <...> Я и не искал бытовых красок. <...> Как “Бог явлен” в нем, если он просто не верит в Бога!» [1]. Объясняет писатель и центральную роль в рассказе граммофона, который ему нужен как «уничтожитель» «цельности и единства личности». О том, что герой, пусть и навеянный самой жизнью, сложился у писателя «целиком в голове», свидетельствует в своих воспоминаниях В. В. Бруснянин [9, 84].

Наконец, Андреев выражает обеспокоенность за «простых, нетронутых людей», далеких от культуры, которые могут столкнуться с этой технической новинкой и потерять привычные ориентиры.

Все сказанное выше подводит нас к следующим заключениям.

С точки зрения семиотики возможны три основных подхода к художественному тексту: семантический (слово – предмет), синтаксический (слово – слово), прагматический (отношение к слову) [10, 18]. По сути, все эти три подхода так или иначе присутствуют (разумеется, не в чистом виде) в современной Андрееву критике и, соответственно, в откликах на рассказ – генетически связанной с «реальной», сопоставляющих с действительностью; «эстетической», вычитывающей из произведения особенности стиля, жанра, поэтики; «органической», пытающейся выйти на мировоззрение автора. Реализация последней – в рассмотренных нами философски-религиозных трактовках рассказа.

Как видим, к авторскому замыслу оказываются ближе всего наиболее эмпатичные критики (Адрианов, Германов), пытающиеся анализировать рассказ, во-первых, в контексте всего творчества писателя, а во-вторых, не с собственных эстетических позиций, а как раз с позиции принципиального их игнорирования, «извне» литературного процесса:

в русле религиозных и духовных поисков современности (что было «запрограммировано» самим автором). Обвинения в неправдоподобности, карикатурности, шаржированности – следствие неприятия поэтики Андреева большинством современных критиков, причем независимо от практикуемого подхода. Однако те же упреки получает автор и от профессиональных критиков различных эстетических ориентаций, и от ортодоксального священника, который не приемлет духовных поисков, отразившихся в рассказе. Все, в чем получает Андреев упреки от критики: неправдоподобность, художественная недостоверность, – заслоняет для них главное, ради чего писался рассказ и что составляет его тему, органично связанную с магистральной темой всего творчества писателя: тоску по цельности личности и желание уверовать (в рассказе – ожидание героем некоего «знака» свыше).

Ценность приведенных интерпретаций также в том, что они, анализируя рассказ в контексте прочих произведений Андреева на религиозную тему, вскрывают его глубинную связь со всем творчеством и мировоззрением писателя [11]. И эта связь очевидна даже для недоброжелательного критика (Н. Колосов). Эстетика Андреева, не раз им декларируемая, такова, что «форма» для него лишь «грань содержания» («каждое произведение должно быть написано в том стиле, какой для него требуется» [12]), а потому он легко меняет стилистику, разрабатывая в своем предельно гипертекстуальном творчестве излюбленный набор религиозно-философских тем и проблем, причем делая это в разных регистрах – от комического до трагического, от реалистического – до модернистского. Т. е. Андреев – нетипичный для своей эпохи «беспринципный» художник, и «прочитать» его можно, только отрешившись от своих узких эстетических пристрастий.

Для нашей темы интересен следующий факт. Имея склонность перерабатывать свои прозаические вещи в ином жанрово-родовом ключе (как правило, рассказы переделываются в пьесы), Андреев и этим сюжетом намеревался воспользоваться для драматургического опыта: в записях Андреева, в «Темах для пьес <1909 г.>», можно обнаружить описание замысла комедии «Бунт» о «бунтующем» купце [13], «перелицованной» из рассказа, а в одной из рабочих тетрадей – замысел произведения с похожим сюжетом – «Царь в граммофоне». Рассказ, таким образом, являлся одной из стиливых вариаций постоянных тем Андреева, неким «пазлом» в его творчестве.

Название же рассказа, в котором священник Колосов увидел пустую претензию, абсолютно «андреевское»: с зарядом универсальности, всеобщности, экспрессионизма – и в то же время с апелляцией к сверхличному. Оно некий аналог, стиливая вариация названий иных его произведений – таких, как

«Жизнь человека», «Жизнь Василия Фивейского». Впрочем, в процитированном выше богословском комментировании этого словосочетания Колосов дает некий ключ к интерпретации названия рассказа: являясь самоназванием Иисуса, это выражение в то же время есть буквальный перевод древнееврейского идиоматического выражения, означающего «человек, некто». Приведем авторитетное мнение по поводу его значения: «Словосочетание “Сын Человеческий” в Новом Завете только три раза употребляется Иисусом (Евр. 2:6; Откр. 1:13; 14:14) и означает просто “человеческое существо”. Правда, Иисус говорил о Себе “Сын Человеческий” не просто, а с предваряющим его артиклем. Он подразумевал не просто определение “Человеческое существо”, а конкретного “Сына Человеческого”, о котором шла речь в Ветхом Завете. Таким образом, в устах Иисуса это выражение звучит как титул. Возможно, этот оборот заимствован из видения пророка Даниила, описанного в Дан. 7:13-14. Однако, по-видимому, для современных Иисусу Христу иудеев это выражение в целом не несло какой-то особой эмоциональной окраски, поэтому в интерпретации Иисуса оно обрело новый смысл и значимость. Понятие “Сын Человеческий” сопоставимо с понятием “Христос” или “мессия”» [14].

Анализируя сюжет рассказа, получим подтверждение тому, что его название идеально отражает замысел. А именно: рассказ построен как система зеркально отражающих друг друга «двойников»: священник Богоявленский – дьякон – щенок – сын (причем сыновей тоже двое, с разными реакциями на поступки отца и разными стратегиями поведения) – Эразм Гуманистов (Гуманистов – тот же «Человеков», с греческого, как и все они – «сыны человеческие», «Человеки», взыскующие Бога и истины). Зеркальность ситуации «Отец – сын», заданная сакральной моделью, и обыгрывается во взаимоотношениях сынов человеческих с божественным, отцовским началом, и пародийно переиначивается в проклятии старшего сына отцом Иваном. Таким образом, проецируя самоназвание Иисуса на героев рассказа, Андреев высвечивает двойственную природу человека, в котором мерцает и божественная, до конца самому ему непроясненная сущность, и «крестные муки» земной судьбы.

Весьма важна для постижения авторского замысла и роль граммофона, показавшаяся некоторым критикам комичной: как известно, А. Измайлов даже написал стихотворную пародию на рассказ, где иронически обыгрывается фатальность граммофона-«погубителя» [15; 16]. Однако именно этот «неодушевленный герой» рассказа позволяет реализовать его главную метафору: ведь граммофон в каком-то смысле «двойник» человека, взыскующего незыблемой веры, или, лучше сказать, его эмблематическое выражение. Как граммофон механически передает

религиозные песнопения разных конфессий, так человек не может постигнуть своей природы и лишь транслирует божественный голос.

Итак, восприятие «Сына человеческого» в религиозном контексте, высвечивая в тексте ожидаемые и неожиданные краски и полутона, оказалось крайне полезным и для его «прочтения», и для постижения своеобразия художественного почерка писателя и его места в литературе своего времени. Ближе всего к постижению авторского замысла «беспринципного» писателя оказались критики, попытавшиеся подняться над своими принципами – эстетическими или религиозными.

Интерпретации этого рассказа критикой – еще одна страница в истории взаимоотношений русской светской литературы нового времени и христианской традиции во всех ее аспектах – богословско-догматическом, религиозно-философском, нравственном, историко-культурном.

ЛИТЕРАТУРА

1. А. И. [Измайлов А. А.]. У Леонида Андреева / А. Измайлов // Русское слово. – 1909. – № 211 (16 сент.). – С. 3.
2. [Б. п.] Литературная летопись (По телефону от нашего петербургского корреспондента) / [Б. п.] // Русское слово. – 1909. – № 103 (7 мая). – С. 5.
3. Айхенвальд Ю. IX альманах «Шиповника» / Ю. Айхенвальд // Слово. – 1909. – № 801 (20 мая). – С. 2.
4. Измайлов А. «Сын человеческий». (Новый рассказ Леонида Андреева) / А. Измайлов // Биржевые ведомости. – 1909. – № 11096 (9 мая). – Утр. вып. – С. 6.
5. См. об этом: Христианство и новая русская литература XVIII—XX веков: Библиографический указатель. 1800-2000. – СПб. : Наука, 2002. – 891 с.
6. Адрианов С. Литературные итоги 1909 г. / С. Адрианов // Северные зори. – 1910. – № 4 (1 янв.). – Стб. 19–22.
7. Свящ. Н. Колосов. Неумная фантазия («Сын человеческий», рассказ Леонида Андреева. Альманах «Шиповник». Книга IX. СПб., 1909) / Н. Колосов // Душеспасительное чтение. – 1909. – Ч. II (июнь). – С. 387–394.
8. Германов В. Вечное в художественной литературе наших дней. 2. Преддверья / В. Германов // Христианская мысль. – 1916. – III (март). – С. 129–149.
9. Бруснянин В. В. Леонид Андреев: жизнь и творчество / В. Бруснянин. – Москва : Тип. К. Ф. Некрасова, 1912. – 126 с.
10. Сухих И. Н. Сказавшие «Э!». Современники читают Чехова. А. П. / И. Сухих // Чехов: pro et contra. – Санкт-Петербург: РХГИ, 2002. – С. 7–44.
11. См. Об этом: Козьменко М. В. Проблема «гиперавантекста» (На материале творческого наследия Л. Андреева). Текстологический временник. Русская литература XX века: Вопросы текстологии и источниковедения / М. Козьменко. – М. : ИМЛИ РАН, 2009. – С. 218–225.
12. Андреев Л. Интервью / Л. Андреев // Новости сезона. – 1909. – № 1819 (27-28 сент.). – С. 10.
13. РЛ MS.606/Ф.8.
14. Ключевые понятия Библии в тексте Нового Завета: Словарь-справочник. – Режим доступа: http://www.jwforum.name/bible/transfers_scriptures/SIL-Theological-Terms.pdf (14.06.2014)).
15. А. И. [Измайлов А. А.]. Сын человеческий или Рокковой граммофон (Из книги пародий) / А. Измайлов // Русское слово. – № 105 (10 мая). – 1909. – С. 3.
16. Измайлов А. А. Кривое зеркало: Шаржи и пародии. – С.-Петербург : Изд-во журн. «Театр и искусство», 1910. – С. 7–15.

Невский институт языка и культуры (Санкт-Петербург)

Боева Г. Н., доцент, заведующая кафедрой культурологии и общегуманитарных дисциплин

E-mail: g_boeva@rambler.ru

*Nevsky Institute of Language and Culture (St-Petersburg)
Boeva G. N., Associate Professor, Head of the Cultural Science
and All-humanitarian Disciplines Department
E-mail: g_boeva@rambler.ru*